

# Надежда Чернова



## ЗА КРАСНЫМ СОЛНЦЕМ

### Рассказы

### ГРУБИЯН

Лавруша – грубиян. И грубость ему всегда почти выходит боком. Зачем, скажи, связываться с Егорычем? Все знают: Егорыч – гад и зануда. Знают и терпят. Что с дурака возьмёшь? Ума нет, считай, калека. Бригада усмехалась за спиной своего начальника, изображала, как идёт он по узкому коридору купейных вагонов: подбородок вскинул над глухим кителем, губы сжал в лиловую нитку, стучит высокими каблуками – он маленького роста и надбавляет себе каблук у сапожника-армяшки в привокзальной будке, волосы у Егорыча дыбом стоят, чтобы, значит, выше ему быть, так стоят, что аж фуражку приподымают – парит она над змеиной головкой бригадира. Ходит Егорыч неизменно с кипенно-белым платочком – пыль проверяет. Чтоб тебе провалиться с твоей пылью! Ребята нервничают при его обходах. За спиной-то у злодея чё не посмеяться? А когда вот он, перед тобой – тут не до смеха. Один проводник – из новеньких – до того струхнул, что на вопрос Егорыча: «Как фамилия?» – ляпнул ни с того ни с чего: «Наполеон!»

Больше всего на свете Егорыч боится насмешки. Вокруг лиловых губ бригадира проступила страшная белизна, будто инеем лицо его подёрнулось. Он развернулся и промаршировал в свой вагон. Но с тех пор стал упорно уничтожать непутёвого «Наполеона». И уничтожил. Хватка у Егорыча бульдожья. Если вцепится в кого – не бросит, пока не задушит.

Лавруша знал это не хуже других: слава богу, не первый год в проводниках. Но едва видел змеиное, подсвеченное жёлчью личико бригадира, делался прямо ненормальным. Непременно опрокидывал на Егорыча горячий чай – эдак стаканов пять-шесть сразу. Дёргает, мол, поезд, я-то тут при чём? Егорыч наливался тяжёлой злобой и летел к себе строчить рапорт на Лаврушу, а Лавруша только смеялся:

– Ну, начинаются дни золотые! Снова роман про меня сядет сочинять, Пушкин!

Все ябеды Егорыча попадали к армейскому другу Лавруши Марату, который работал в управлении, и ложились под сукно. Сам же Лавруша Марату ни слова не говорил о войне с бригадиром, и если Марат спрашивал, отмахивался:



– А-а, ерунда! Человек такой – писать любит...

Пишет Егорыч очередной рапорт, но Лаврушу всё же побаивается. Может, потому, что Лавруша его не боится. Однажды заперся с ним в своей дежурке и таких ужасных, таких матерных слов Егорычу наговорил, что у того не только под фуражкой волосы встали дыбом, но и китель на груди зашевелился. Егорыч рвался к двери, да грубиян сильнее бригадира и на волю его не пустил, пока всё ему не высказал.

С тех пор Егорыча при встрече с Лаврушей прохватывал понос. Исходит поносом Егорыч, а не отступает. И стал он не просто мытарить Лаврушу, а подводить под статью:

– Сядешь ты у меня, так и знай! И никто тебе не поможет!

\* \* \*

Дома, перед женой Катериной, квёлой, обсаженной крупными, жабьими бородавками, Егорыч любил выступать:

– Ничё! Суворов, вон, тоже был маленького росту, а гляди: всех покори! Вот так! Я, когда рога-то кой-кому пообломаю, то выше Петра Первого покажусь. Ничё!

Катерина мелко смеялась, отчего бородавки у неё делались малиновыми:

– Ой, не смехи, Христа ради! Вояка сраный! Всё рога у тебя на уме. Зарабатывал ба лучше, а то живём, как последние...

И она неожиданно всхлипывала. Ещё и улыбка с лица не сошла, а уже катились всю слёзы, ловко обходя круглые бородавки.

«Всё от бабьей жадности! – думал о ней с ненавистью Егорыч. – И телевизор есть, и пылесос, и даже ковёр персидский – мало ей, гадине!» Он за двадцать лет совместной с нею жизни много хитроумных планов передумал, как рога бабе обломать, но все планы бесславно провалились. Это на вид Катерина такая квёлая, из-за бородавок, а как разойдётся, только ай да ну! Вмиг подхватит Егорыча под мышку – он ножками на высоких каблуках дрыгает, пищит – и в чулан, к паукам, как Буратину. Сидит, скулит в щёлку: «Не буду больше!» А Катерина – для устрашения – ещё в дверь чулана шваброй грохнет, да с таким сердцем, что в мозгах отдаётся.

Это ещё женихались когда, как-то Егорыч стал характер показывать, грозить чем-то Катерине, так она, не долго думая, схватила его и выкинула через бревенчатый заплот. Её родители зажиточно жили, в собственном доме, с крепким заплотом. С тех пор Егорыч опасался гневить жену, но порою забывался, выкатывал петушиную грудь, стучал высокими каблуками, как на своих подчинённых.

Сначала весёлый и злой, как молодой волк, которого дразнят, Лавруша постепенно стал уставать, уступать в безысходном единоборстве с Егорычем. Ему хотелось спокойно объясниться с ним, сказать:

– Да ладно, Егорыч, чё уж там? Дурак я! Сознаюсь: дурак! Плюнь и забудь, не будем друг дружке нервы трепать, а? По-человечеству, Егорыч?

Но бригадир проплывал мимо ледяным айсбергом – не подступиться. Вокруг лиловых его губ проступала у него теперь не бледность, а пульсировала чёрная кровь. Никакой пощады не могло быть. Бульдोजья челюсть сомкнулась на горле

Лавруши, и если бы Егорыч даже захотел оставить его в покое, то не смог бы: судорога слепой ненависти была сильнее его.

Ребята говорили грубияну:

– Уходить тебе надо из бригады, Лавров! Уходи, пока цел, а то хуже будет. Но Лавруша не уходил, что-то выжидая, непонятное ему самому.

\* \* \*

Он безучастно смотрел в окно. Там тянулись белые горячие степи. Они надоели Лавруше до чёртиков, они клонили в сон. Выросший в Мещёре, он не мог без леса. К жаре так и не привык. Ночью, если пассажиры не донимали, спал, завернувшись в сырую простыню, а днём то и дело совал голову под кран с липкой, жёлтой водой. Запирался в своей дежурке. Безучастно смотрел в окно. Маялся тоской.

Так было до крошечного полустанка Уялы. Каждый раз Лавруша с волнением ждёт, когда из-за лысых сопok вынырнет странное поселение: одинокий дом посреди выжженной Степи. Старик дремлет под кривым карагачом, уронил голову на посох. Одет во всё тёплое, будто зима на дворе: в тулуп, в лисью шапку. Гнедая кобыла понуро стоит в распадке, где высыхает дождевой ручеёк. Рядом с ней жеребёнок. Прямо в небо, не отклоняясь никуда, восходит от летней печки жидкий голубоватый дымок. Тощие длинноногие собаки, задрав хвосты, бегут за поездом: вдруг кто-то из окна выкинет куриную косточку? Коричневые голые дети приплясывают возле колодца, обливаются из ведра. Женщина в красном платье глядит из-под узкой ладони вслед уплывающему составу, забывая о козе, которую она держит за верёвку. Коза вырывается, трусит к детям, потом – в открытую степь, на волю. А женщина в красном платье всё смотрит и смотрит, и кажется издалека остановившимся посреди Степи огнём, а может, краешком вечернего солнца, которое вот-вот закатится за лысые сопки до следующего дня. Когда она смотрит на бегущий поезд, кажется ей, что и её жизнь движется, происходят в ней тревожные и радостные события, от которых сердце стучит так громко, как колёса зелёных вагонов. Поезда в Уялы никогда не останавливаются, только чуть-чуть замедляют ход. Станция дальше, в семидесяти километрах от полустанка. И долго потом, в тишине Степи, женщина переживает прошумевшую только что жизнь.

Лавруша так чётко видел всё это, и сам переживал, словно на мгновение переселился в душу этой незнакомой женщины с нерусским смуглым лицом.

Дальше всё продолжается по заведённому давно порядку: женщина бежит по Степи с хворостинной – ловит козу. Привязав её, косящую янтарным глазом, зовёт детей. Мокрые, фыркающие, как жеребята, они прибегают к матери. Она шлёпает их по коричневым спинкам. Вытаскивает на деревянный айван низкий стол или просто стелет белёсую, вытертую клеёнку, а на неё бросает куски вчерашней лепёшки. Мешает деревянным, почерневшим от старости черпаком кобылье молоко в тастагане и наливает, не спеша, своим детям в круглые чаши. Зовёт старика. Но он не слышит её, плавает в своих старческих, мутных грёзах. Она несёт ему кисе с молоком под карагач. Он пьёт, не размыкая век, и тут же засыпает снова. Собаки лежат рядом, положив морды на вытянутые лапы.

В сторону железной дороги женщина и не смотрит даже, будто и нет её рядом с домом. Тихо. Только зной звенит, только слышно, как сухие стебли ковыля трутся друг о друга, да жалобно мекает коза, привязанная к мосласту шесту.

Но вот вдали, в глубине июльского неба, назревает глухой звук, вздрагивает толчками земля, будто от землетрясения. Женщина роняет черпак и слушает тревогу в себе. Потом соскакивает, по-девичьи гибко, с айвана и, подобрав подол красного платья, бежит к дороге. И снова смотрит из-под узкой ладони на проплывающие мимо зелёные вагоны, от которых пахнет дымом больших городов, незнакомой стороной. Дети зовут свою мать, но она не слышит их. За спиной у неё нет ничего, только платье алым крылом изгибается, плещется от жаркого ветра набирающего скорость поезда.

Лавруша, не отрываясь, глядит на женщину, и сердце его обмирает от непонятного ему восторга, которого за ним никто никогда не замечал, ведь он – грубиян! И лицо-то у него грубое, красное – огонь на него дохнул.

\* \* \*

До проводников работал Лавруша трактористом в мешёрском леспромхозе. Загорелся как-то молодой ельник, а за ним и матёрый лес. Лето сухое стояло. Надо было растаскивать пылающие деревья. Вот Лавруша и таскал – десять часов кряду. Может, и ещё бы провозился, но тут неожиданно хлынул дождь, после месячной-то сухмени! Трактор зашипел раскалённой сковородкой, запчихал, паром оделся. Тогда только Лавруша бросил рычаги и вывалился без памяти из кабины. С тех пор и красное у него лицо. Когда уехал он из посёлка, то нигде не мог устроиться на работу, нигде Лаврушу с такой внешностью на работу не брали, думали: пьяница. А тут кое-как зацепился, да, видать, и в проводниках не удержится, выживет его Егорыч.

И на работе Лавруше теперь плохо, и дома не лучше. Дома – Алка, сожительница его. Алка-анчутка.

Анчуткой Алку прозвали вокзальные. Волосы у Алки всклокоченные, будто через каждую кудерьку электроток пропущен. В ярко-красный цвет крашенные, а раньше лиловые были. Глаза у Алки горят лихорадочным огнём, лицо подвижное, как у мартышки. Да и тело места себе не находит, дёргается, как в чесотке: то бедром выставится Алка, то выгнет тощий зад – ну прям мартовская кошка! Если зайдёт к Лавруше друг армейский, Марат, Алка тут же плюхнется ему на колени. Марат конфузливо краснеет, теряется, а Лавруша хлопнет дверью и зло курит на крыльце. Но уж как уйдёт Марат, Лавруша бьёт Алку смертным боем. Алка ловко уворачивается: ну кошка и кошка! Приходит потом в буфет при вокзале, где работает, с синяками, но всё равно виляет бёдрами и подмигивает клиентам.

Выгнал бы её Лавруша, да скучно одному жить. Ведь никем-никого у него. Собака была, так погибла под поездом. Наладилась щенков под вагонами прятать. Ничем её оттуда не выманишь. Вот и пропала. Другую Лавруша заводить не стал: сильно по прежней тосковал. Привязчивый он, Лавруша. Вот и к Алке-анчутке привязался. Лупит её, а потом жалеет.

Раньше, когда работал в леспромхозе, была у него настоящая любовь. Хорошая девушка, смиренная, Валя. Валя, Валенька – имя нежное, на языке тает. Придёт Лавруша к ней, она обнимет его и скажет: «Суслик ты мой!» Так у Лавруши и зайдётся от нежности сердце. А как вышел он из пожара, перестала его сусликом звать и обнимать больше не хотела. Придёт он к ней, она отвернётся и молчит. Потом другого себе нашла. У того лицо белое и сам белобрысый, как морская

свинка, но Вале, видно, нравился. Свадьбу сыграли. Мчались через деревню на тройке – кони цветами бумажными убраны, дуга лентами перевита. Жених весёлый, пьяный, а Валя... Валя бледная сидела, неподвижная, как из дерева точёная. Заплакал Лавруша и в лес убежал. Там всё ещё пахло гарью, но земля уже остывала, подёрнулась новой травкой, и даже иван-чай зацвёл на опушке.

Каждую ночь приходил Лавруша к Валиному дома, прятался в палисаде, за высокими столбами розовой мальвы, ждал, может, Валя выйдет к нему, вернётся?

Соседки стыдили его:

– Ну вот чё позоришься? Чё выгадывашь? Упорхнула птичка, не твоя теперя. Об другой думай. Вон, девок скоко томится! Любу бери!

Но любую он не хотел. Уехал из посёлка. Мотался по России. Нигде не было ему места. А тут друг армейский, Марат, написал ему, к себе стал сманивать. Обещал с работой помочь. Лавруша и поехал на край света, в Степь. Думал, может, отпустит его тоска?

Друг слово сдержал, устроил Лаврушу в проводники. Хорошая работа. Едешь и едешь – от себя самого убегаешь. И – убежал, кажется. Другой он теперь человек. Грубиян. С Алкой вот дерётся.

Бывают, правда, и у них хорошие дни. Придут оба из бани. Алка накроется белым платочком, смоев штукатурку с лица – разругается, помолодеет, проступит в ней простодушие деревенской девушки, какой и приехала Алка когда-то в город поступать в медучилище. Экзамены провалила. Не в деревню же назад возвращаться? В деревне скучно. А тут: огни, томительные гудки скорых экспрессов, праздничная суета вокзала, шампанское в буфете. Батюшки, глаза разбегаются! На вокзале стала жить, перебиваясь случайными заработками.

Вскоре заметил её здоровенный грузчик по кличке Фрайер, в буфет повёл, а потом потащил по тёмным вокзальным закоулкам, завалил пьяную Алку на кучу остывающего шлака. А за ним и другие милята у Алки появились. И снова буфет, снова шампанское. Весёлая жизнь пошла, с песнями:

Сыпь, сыпь, сыпала,

Серёдочка выпала.

Остались краешки –

Милому на vareжки!

Кричит Алка деревенскую срамную частушку, чечётку бьёт, а кавалеры тащат её в разные стороны. Сколько ж их сегодня? Трое или четверо? Всё плывёт у Алки перед глазами, всё пляшет вместе с нею.

Ребёнка родила в чужом сортире. Там и оставила. Спряталась в кустах. Видела, как женщина, прикрывшись пуховой шалью, пошла к серой будке по нужде. Отворила дверь, закричала. Хотела бежать назад, но вернулась, подняла ребёнка – он начал примерзать к холодному полу. Завернула в свою шаль, да рысью в дом. Вскоре выскочил из дому лысый мужик в тёплой безрукавке, стал обыскивать двор. Алка выдралась из кустов, ушла, всхлипывая и жалея себя. О ребёнке она не думала. Помрёт, поди... Даже не поглядела: мальчик ли, девочка...

Покатилась её весёлая жизнь – опомниться некогда. Как-то решила подойти к тому двору, где ребёнка бросила. Всё там было по-прежнему. И серая будка цела. В огороде возилась женщина, уже совсем немолодая, не шибко здоровая на вид. Она полола морковь. Разогнулась, потёрла поясницу и ласково позвала:

– Сергуня, Сергунька, где ты там?

Из зарослей паслёна высунулся белобрысый мальчик, лет трёх, перепачканный синей ягодой.

– Тут я, ба! Зука вот поймал, с логами!

Он косолапо подбежал к женщине. Господи, лицом-то вылитый Алкин брат Ванька, который в деревне остался и спивается там теперь. Её это мальчик. Выжил, значит... Старуха деловито рассматривала рогатого жука, успевая фартуком утирать чумазую физиономию Сергуньке, опрастывать его толстый, гундосый нос, отцеплять колючки от розовой рубашки в цветочек. Поди, сказала парнишке, что мать его ездит где-нибудь или даже умерла. Придумала что-нибудь. И про отца, небось, тоже сочинила: мол, герой он и геройски погиб во льдах Антарктиды, вместе с другими полярниками, или в самолёте разбился, потому как был лётчиком-испытателем. Алка зло хмыкнула: ври больше! Фрайер в тюраге парится. За драку его посадили: человека он искалечил. Герой! Хотя, может, и не от Фрайера сыночек...

Пошла Алка от чужого огорода. Долго шла. Ничего не видела. Пришла к рельсам. От вокзала далеко забрела. Пустырь шумел чертополохом да метровым бурьяном. Ни одной души кругом. Только птица какая-то плачет под облаком. Не видела Алка ослепшими глазами Лаврушу: он любил бродить один – в поле, среди травы и трескучих кузнечиков. Бродил, мечтая о своей Вале, которая давным-давно не его, но он помнил её только своей, когда она его любила, и не хотел думать по-другому.

Алка вскарабкалась по насыпи. Послышался резкий гудок скорого поезда, он нарастал ураганом. Алка упала на рельсы лиловой головой. Лавруша в два прыжка оказался подле неё. Стащил беспмятную Алку с насыпи. «Скорый» вихрем промчался мимо, раскачивая землю, пригибая на пустыре могучую траву, откуда залпом выстреливали красные кобылки.

Так у Лавруши появилась Алка-анчутка. К себе он её привёл. Алке ведь податься было некуда – на вокзале она обитала. С квартиры, которую снимала, её согнали – за разгульную жизнь и неуплату. Да и откуда у Алки деньги? Ни на какой работе она не держится. Живёт, как вольная птичка: где что достанет, то и съест. Кавалеры, случалось, покормят, спать к себе возьмут.

Лавруша знал про это, но решил забыть, лишь бы Алка опомнилась. Но она будто окаменела. Когда он подходил к ней, тупо глядела в одну точку, шипела дикой кошкой:

– Сгинь! Ненавижу. Зачем стащил с железки? Через тебя нет мне теперь прощения...

Он гладил её по лохматой лиловой голове, крашеной чернилами:

– Отойдѣшь чуток, по-другому жить станешь, всё и простится тебе...

Она отодвигала его от себя, брезгливо морщилась:

– Сгинь, урод! Не могу я по-другому жить!

Но отогрел он её. Работать устроил – в привокзальный буфет. Она ни на кого теперь не смотрела, говорила всем:

– Замужня я! Не кака-нибудь!

Волосы больше не красила, и они закудрявились золотисто-льняными, живыми волнами, а лицо свежее, будто только что умытое весенним дождичком. Совсем хорошая Алка стала. Но потом заскучала, потянуло её на старое. Загуляла!

Не простил ей Лавруша. Бить стал. Грубиян! Прогнать бы надо Алку, не будет от неё толку, а он всё тянет, всё выжидает что-то. Привязался вот зачем-то...



\* \* \*

И на этот раз Уялы проезжали перед закатом. Женщина в красном платье, как всегда, размешивала в тастагане кобылье молоко. Дети её с нетерпением ждали, протянув матери пиалки. Старик в зимнем облачении дремал под кривым карагачом. Кобыла пряталась от зноя в сыром распадке, жеребёнок не отставал от неё. Коза дёргала короткую верёвку и сердито бодала мосластый шест. Но собаки уже насторожились, готовые бежать к дороге. И женщина услышала поезд. Бросила черпак, понеслась, вспыхивая на ветру красным платьем. Лавруша видел её лицо, подробно видел, будто рядом стоял. Он видел и тонкие брови, не выцветающие летом, словно наведённые углем. И раскосые чёрные глаза, каких нет в Мещёре. И нервные ноздри её прямого правильного носа. И ослепительно-белые зубы, такие крепкие, что, наверно, легко могут разгрызть орех, хотя откуда тут, в Степи, орехи-то? Смешно даже и подумать...

Женщина всегда была одна – с детьми, с дремлющим стариком, с кобылой в распадке, с упрямой козой, с длинноногими собаками. Есть ли у неё муж – бог знает... Может, и есть. Скорее всего, работает путевым обходчиком. Ушёл куда-нибудь на дальний конец участка. Но за весь путь до станции Лавруша ни разу не видел в Степи ни одного человека. Другой работы здесь нет. Хлеб земля не родит. Скота он не встречал, если муж её, к примеру, пастух. Пустое место. Нежилое. Одна мазанка на все семьдесят километров – в ту и другую сторону. Может такое быть, что погиб он, как-нибудь случайно под поезд попал, или в пургу замёрз, в Степи, далеко от дома забрёл, или сам по себе помер. Ничего не знал об этом Лавруша. Вот каждый раз ездит мимо и ничего не знает.

Женщина мчалась за поездом, как вечернее, красное солнце, прижав к запятой груди тонкие руки. Казалось, она летит уже, летит, свистит за спиной её алое платье. И слёзы прыгали в глазах Лавруши.

– А-а-а! Пропадай всё пропадом!

И он выпрыгнул на ходу, и побежал навстречу женщине в красном платье.

## ПЕТУШОК

У неё было старомодное имя, теперь таких не дают – Фрося. Мальчишки во дворе дразнили её, кричали под балконом:

– Фрося! Фрося! А ну, покукарекай!

Участковый, Тошка Сопаткин, местных хануриков по фамилиям звал, только её всё Фрося да Фрося, подружка ему вроде. А ведь помнит она Тошку ещё детсадовским, нянечкой работала. Так этот Тошка Сопаткин вечно сопливый ходил. Видать, весь род у них такой, раз они Сопаткины. Воспитательница Нинка форточки поотворяет – на дворе мороз, а специально делала, чтобы «огрызки» – так она звала ребятню – поскорее простыли и меньше ей смотреть. Они у Нинки и болели, а уж Тошка этот – особенно. Как же, помнит его... Уже тогда со свистком ходил – любимая игрушка была. Все машинки катают, а он свистит, милиционера изображает, народ штрафует. Кто печеньку ему отдаст, кто конфетку, кто фантиком откупится – всё равно ведь не отстанет. Сопли через губу лезут, а он знай свистит!

Фрося вытрет ему нос фартуком, по головке стриженной погладит:

– Ох ты, свистун сопатый!

Он и опять побежит играть. А теперь надо же – начальник! Страшает:

– Фрося, смотри у меня!

Лучше бы сам смотрел – за хануриками да за собой: всё носом швыркат, сопли ест. Ладно, Фрося так Фрося – от неё не убудет. Вон, у неё петушок есть. Ханурики подарили: «Это тебе, тётъ Фрось, чтоб веселее было!» Где взяли, не сказали. Украли, поди. Ходит петька по перилам балкона. Молоденький. Рыже-золотой. Из аккуратной его головки огонь пробивается, вспыхивает острыми язычками. Скоро гребень будет. Из куцега хвоста настоящие перья полезли. Одно уже выгнулось зелёным серпом, ловит солнце, отражает, как зеркальце, слепит Фросю, ей и смешно. А петушок ходит, то одну, то другую ногу поджимает, красноватыми крыльями всхлapyвает, но держится на узких перилах балкона, вниз не падает – ловкий петушок. И чтобы к соседям нагадить – ни-ни! Обязательно спрыгнет к себе, в сухую травку, что Фрося по всему балкону накидала, и там сделает. Умнее учёной собаки. Собак Фрося не уважает, которые в квартирах живут. Воняет от них, и шерсть везде. А петушок – чистый, одна радость от него.

Утром чуть свет зальётся – наполняется Фросино сердце счастьем, и она улыбается сквозь сон, и видит белый песок у тихой речки, которая крадётся по тёмным травам, по тальникам тонким, огибает светлые берёзовые рощи, вливается в синее небо. И вот уже первому петьке откликнулся второй, третий – заголосили деревенские дворы! Тут и коровы замычали, и козы замакали, и затыкали ленивые собаки, и вёдра зазвенели, всхлинули первые струи молока, падая в подойники.

Ловит Фрося острыми ноздрями кисловатый запах хлеба, разопревших отрубей, зелёного сена. Воздух особенно резкий после душной избы, сладкий. Солнце стоит над самым двором, и тепло от него приятное, сухое. Ещё не звенят мухи, не налетели из лесу липучие козявки, и слышно, как травы лезут из земли, скрипят жилистыми белыми корнями, вода сверлит метровый песок – на волю хочет, и вот-вот забьёт на огороде под ракушкой родник. Почему бы и не забить? У деда Пихто есть, у других соседей есть, ведь деревня неспроста называется Родники, и все там Родниковы. И Фрося – Родникова.

Вспомнив деда Пихто, Фрося смеётся. Вот ведь привязалось к нему прозвище! Он глуховат был и, что ни говоришь ему, сроду переспрашивал:

– Кто? Кто?

Над ним и шутили:

– Кто-кто? Дед Пихто да баба Никто!

Так и осталось. Деда-то она, помнит, Епифаном звали, а вот как бабку его – теперь уж и забыла. И вправду – баба Никто... Прахом стали, вместе со своей избой. Дед-то Пихто говорил всё в последнее своё лето: мол, сгорим, и я, и бабка моя, и наша изба. Вот помяните моё слово – сгорим от молоньи! Так вы нас на кладбище не тащите, угольки-то наши бранные, а оставьте тут, где изба, вместе с избой погребите. Так наказывал. Так и сделали. Одной землёй теперь лежат. А чтобы не развеял их ветер, не разделил и в смерти, в то же лето быстренько приманили они бурьян. Много, видать, семян попадало с неба – земли не видать. Сплошной травяной шерстью покрылся бугор, где стоял бревенчатый дом деда Пихто да бабы Никто, а теперь высится крест одинокий... Задует ветер – бурьян весь поляжет, согнётся в три погибели, а земли ветродую не отдаст. Семена с



бурьяна сдерёт ветер, кой-какие стебли поломает, выпустит зелёную травяную кровь, а ни крупички земляной не тронет. Неразлучны вовеки дед Пихто да баба Никто. Под холмом травяным родник поёт, окликает божий мир голосами подземных жителей...

\* \* \*

В дверь сильно застучали. Фрося прислушалась. Звонок не работал – электричество ей давно отключили. Вот-вот и воду с газом отключат – за неуплату. Грозятся и вовсе выселить. Но Фрося не унывала и думала как-нибудь собрать денег, рассчитаться.

Сползла с кровати, на цыпочках прокралась к двери. Рубаха у неё короткая – «бесстыдница», как она её зовёт. Хоть и не видит Фросю никто, тянет она рубаху, чтобы длиннее сделать. Неловко ей в «бесстыднице». Осторожно прильнула к глазку. Ну, конечно, Тошка Сопаткин и Мотря из жэка, с папкой. Волосы начесала башней, срамотень одна! А туда же, ещё одна начальница, ядрит твою копалку! Опять выселять пришли.

Мотря затарабанила сильнее, закричала раздражённо:

– Родникова, а ну, открывай! Открывай, тебе говорят! Открывай, не то дверь взломаем!

– Это уж вы слишком, не имеем права! – урезонил её Тошка, озираясь на соседние квартиры.

– Имеем, имеем! – вопила Мотря. – Я, что ли, за неё платить буду? Ревизия у нас!

Это вконец обозлило Мотрю, и она застучала двумя руками, взяв папку в зубы.

Фрося молча показала им кукиш и ушла на кровать. Она знала, почему Мотря так старается – своего племянника хочет в хату Фросину вселить. Он из области откуда-то приехал да и поселился у Мотри и тиранит её: «Ты власть, сделай мне квартиру, а не то век тут у тебя буду жить, не обрадуешься!»

Петушок завозился на балконе, заглянул в окошко. Увидев своё отражение, сердито клюнул стекло.

– Кыш! – махнула на него Фрося. – Окно высадишь, окаянный!

Но петушок уже весело побежал по жестяному карнизу окна и залился раскатыстым «ку-ка-ре-ку!».

– У-у, засранец! – нежно глядела на него Фрося. – Иду, иду!

Она нагребла на кухне в белом ведре пшена и понесла петушку. Он захлопотал, забулькал золотым горлышком, застучал коготками. Засыпав пшено в деревянное корытце, Фрося присела на низкий порожек, выщербленный изрядно. В щелях жили какие-то мелкие твари, Фрося поначалу травила их дустом, да чуть сама не угорела. Отступилась, махнула рукой:

– А-а, хай живут!

Они и живут, никому не мешают.

Солнце протягивало сквозь деревья жёлтые лучи. Пахло сенцом – городские газоны окосили. Трава лежала сохла, вытянув лёгкие стебли. «Как ноги!» – подумала Фрося. Птицы перекликались в кронах, и даже кукушку слышать. Где-то она поблизости. Может, в соседнем парке. Горы висели в воздухе – ясные, в снегу, будто рассечённые белыми молниями. Вот уж Фрося не любит их! Сколько живёт

тут, считай, всю жизнь, а в горах сроду не была. Зачем ей? Она лес любит, зелёные равнины, тихую речку за деревенским домом. Так бы и полетела!

\* \* \*

...Косили чуть свет. Трава ещё мокрая, ногам зябко, ломит косточки, а потом распарятся, загудят. Из земли идёт грозный, долгий гуд и по ногам, по жилам поднимается к сердцу.

В полдень побросашь косы, скорее в тень, под берёзу, к ручью. Сначала горящее огнём лицо умоешь, потом ноженьки в воду опустишь – вот уж где благодать господня! Упадёшь в кашку да резеду, лежишь, а ноги – в воде. Так вот и кажется, что сама ручьём стала, бежишь по чистому песчаному руслицу, и нет для тебя на свете жажды, потому что ты – вода. Отлежишься, молока из кринки попьёшь. Кринка в ручье стоит, марлей завязанная. Тут дед Пихто подойдёт, начнёт косу точить.

– Чё, девки, угорели? Ну-ка, дайте-ка и мне похлебать!

Попьёт из кринки: «Ну, чистый мёд!» Бородатое лицо утрёт чёрной ладошкой да снова косить.

Крикнешь ему:

– Жарко! Айда, в теньке полежи!

А он с недоумением посмотрит:

– Кто, говоришь? Кто?

– Ну, пошла, родная! Расктокался. Дед Пихто да баба Никто! – по привычке ответят девки, и Фрося с ними, и снова рухнут в траву: спать, спать!

\* \* \*

Фросина жизнь делилась на две неравные части. На ту, что воображала она, что жила в её памяти, что была яркой и счастливой, и на теперешнюю, которую она никак не могла ухватить, осмыслить, которая шла как-то помимо неё, и порою казалось, что живёт на свете не она, Фрося, а какой-то совсем другой человек, а Фроси нет. То есть она существует, но в другой жизни, которая не пересекается с этой. А в этой – в этой постоянно не хватает денег, пенсия-то крошечная, хоть всю жизнь Фрося работала. У неё и медаль есть за труд, а пенсии хорошей нет, вот и приходится собирать бутылки по кустам да помойкам. Пока сдаёт в ларьке, ханурики на корточках сидят у бровки тротуара, по очереди одну папироску курят – «трубку мира», как они в шутку её называют. Поджидают Фросю. И с пенсией идёт – они уж у почты караулят, за ручку здороваются: «Ну чё, тётъ Фрось, разбогатела? Давай сюда!» А если не отдашь им – всё равно отнимут, а то и побьют. Не сильно. Так, чуть-чуть, чтоб только приструнить. И нет у Фроси защиты – кругом одна. Ханурики утешают её: «Ты подумай сама, тётъ Фрось, куда тебе деться? Конечно, как одинокая, можешь определиться в дом престарелых, да только пенсию и там будут у тебя забирать, а сама взаперти сидеть станешь, за высоким забором, как в тюрьме, ещё и уколы ставить будут. А тут ты на свободе, сама себе хозяйка – иди, куда хошь! Плохо, што ли? Зачем тебе вонючие старухи? А мы, если што, поможем...» И правда – помогают: не все деньги отбирают, немного и ей оставляют: «А то окочуришься, на што мы жить будем?» Прошлой осенью мешок картошки ей притащили, и снова не сказали, где взяли. Куфайку ещё, почти не ношенную. Петушку пшено носят. Юные тимуровцы! И перед Тошкой Фросю выгораживают: «Ты Фроську не трожь! Мы за неё кому

хошь глотку порвём! Смотри, а то сдадим тебя...» Сдавать было за что – Тошка приторговывал анашой.

А-а, да что тут говорить? Все одним миром мазаны, все бандиты: и Тошка, и ханурики, и Мотря с её племянником... Время бандитское... И всех жалко – все в маяте живут, как и она, Фрося, а ведь тоже были детьми, матери их любили, с неба звёздочки в ладошки падали... Фросе так падали. Лежит она у свежего стога на лугу, надышалась порушенной травой – голова кружится, и небо вместе с ней – тоже кружится, роняет звёздную пыль, она и слетает Фросе в ладони и светится в темноте. Земли не видать – небо одно кругом. Мать с отцом вечерают у костра – самих не различить, только лица их проступают на чёрном небе яркими пятнами, да ещё белый платок матери, брошенный на траве...

Чужая жизнь текла сквозь неё, тратила Фросины годы, а сама Фрося была не здесь. Сама она шла рядом с Жорой. Он в серых клёшах, в рубашке голубой – воротник «апаш». И у неё, у Фроси, платье не какое-нибудь, а чистый креп-сатин, тонкое, синее, в обтяжечку на бёдрах. И туфли-лодочки, в тон платью. И волосы убраны по моде. Всю ночь на папильотках спала. А дома в шкафу есть ещё платье – из крепдишина, из крепжоржета и даже из панбархата, вишнёвое. Катят они с Жорой коляску, а в ней – Галинка. Глазёнками хлопает: луп-луп, соску сосёт, в розовом во всём.

Эх, Галинка, Галинка! Как Фрося кричала, до сих пор грудь болит от того крику. Оборвалось в ней что-то, струна какая-то, и стала ныть грудь, особенно в сырь: ноет и ноет, спасу нет, и кашель глухой душит, будто ватой Фрося набита.

\* \* \*

...Восьмого марта Галинка гуляла с Серёгой Голубом. «Пусть, – думала Фрося, – невеста уж, он ведь посватался, всё путём, через месяц свадьба». Она и платье дочери пошила из гипюра, и фату купила с венчиком, и туфли белые.

На девятое выпал снег. Чистое было утро, молодое. Тишина от снега – малый скрип слышать.

Тут прибежала девчонка от Голубов:

– Ой, тётъ Фрось, айдате скорей! Там Галинка с нашим Серёгой!

А сама всхлипывает, нос красный. Батюшки светы! Фрося, как была в домашних тапочках, так и понеслась – грудь нараспашку.

Их уж вытащили из легковушки, на снег положили. Серёга весь чёрный, а Галинка ничего.

– У ей дырок-то больше, кровь успела выйти, – так шептались меж собой соседки.

Ночью Галинка с Серёгой спрятались в машине, в Голубовском гараже. Машина на их улице только у Голубов была – старенькая, но была. Гордились! Вот Серёга и привёл невесту в эту машину. Отопление включили и, видно, миловались, не заметили, как пошёл газ. Пригрелись да заснули. От угара ведь первым делом в сон тянет. Так и угорели до смерти.

Сознание Фрося не потеряла, только кричала сильно. Нелепая смерть...

Вот так же нелепо и Жора пропал, ни из-за чего. Всю войну прошёл, хоть бы где цапагнуло, а тут... из-за квартиры. По баракам скитались, по чужим углам.

Наконец дали им квартиру, как раз в тот год, как Гагарин полетел. Жора так обрадовался, зашёл в новую квартиру – и рухнул замертво: сердце разорвалось.

Думала – не переживёт. А вот уж сколько лет без него. И после Галинки думала: всё, конец пришёл! Да разве можно такое вынести? Но нет, живёт, и самой страшно, что живёт. Живучая, как репей. Численник на стене больше не меняла – так и осталась дата: 8 марта 1967 года...

...Положили Галинку с Серёгой в одну могилку. Галинку как невесту нарядили – в белое платье и фату. Серёгу в чёрный костюм одели, с белым цветком в петлице. Вот такая вышла свадьба. И на комод у Фроси, на фото, сидят они рядышком, в рамочке. Галинка склонилась к своему жениху, а он сдерживается, хочет мужиком выглядеть, не показать нежности, а у самого глаза сияют, как вот солнышко.

Фрося провела по фотографии ладонью, снимая пыль, и вокруг рамочки пыль сдула. В который раз подумала: «Вдвоём они там, всё Галинке-то не так страшно, а то темень ночью, лихие люди по кладбищу ходят!» – не понимая, что дочь её мёртвая, в земле, и ей уже ничего не страшно. Напротив, лихие люди её побаиваются, обходят стороной, жмутся ближе к сторожке, где горит свет и где могильщики пьют самогонку, делят дневной калым – родственники усопших дают, чтобы поуютнее хатку вырыли: не сырую, а с песочком, с сухим полом. Раньше в хатах пол-то глиной мазали, и у Родниковых тоже. Вымажут гладенько, домоткаными дорожками застелют – красота! Ходишь по тем дорожкам полосатым, как по радуге...

\* \* \*

До вечера сидела Фрося в засаде, боясь отворять дверь. Но надо идти на охоту. Днём она стеснялась своего промысла, ходила вечером. Вынула из-под кровати мешок. Он подванивал пятнами засохшего вина. Взяла у дверей палку и воровато глянула в глазок. На лестнице было пусто. На всякий случай поглядела из кухни во двор: нет ли где Тошки с Мотрей? И там никого. Тогда Фрося быстренько замкнула квартиру и побежала в соседний парк.

Когда-то здесь был яблоневоый сад. Каждой весной он безудержно цвёл и благоухал. Иные сады время от времени отдыхали, а этот не знал передышки и к осени сгибался от тяжёлых яблок, которые брать ленились: у многих были свои сады. Яблоки падали, лежали целенькими до снега, пока их не расклёвывали птицы и не убивали морозы. Долго пахло в саду терпкой кислотой, дрожжами. Потом сад вырубил и решили на пустыре построить жилой комплекс. Но что-то не построили, в другом месте стали рыть котлованы, а пустырь постепенно зарос сорняком. Летом над ним висела нестерпимая жара, липкие мухи, сухая пыльная пыль. Наконец вокруг него поднялись многоэтажки, и городские власти приказали выкосить пустырь, завезти туда хорошую землю и разбить парк, что и было сделано. Долго торчали тощие пруты тополей, да клёнов, да болезненных берёзок. Незаметно они прижились, окрепли и пошли в рост. Не успела Фрося оглянуться – зашумел парк, прибежал откуда-то арык, птицы налетели, молодая кукушка стала пробовать голос. Народ приходил «культурно» отдыхать, и после этого отдыха Фросе кое-что перепало.

В этот раз немного бутылок набрала, надо ещё другие места обойти. Уф, устала! Что-то она последнее время быстро уставать стала. Села на лавочку передохнуть, хотела ноги опустить в воду, в арычок, как делала это в деревне, на сенокосе, да

не решилась: ведь город. Можно и так посидеть. Прикрыла глаза. Лицо её преобразилось. Некогда красивое, тонкое, оно словно бы вспомнило себя, будто гроза по нему прошла и смыла старость, распрямила коричневые спёкшиеся морщины. И привиделось Фросе...

\* \* \*

...И привиделось Фросе: прямо над головой, в чёрном небе наполнялись крупными слезами очи Богородицы. Она глядела на Фросю и жалела её. Фрося подумала: «И как это Богородица с мамкиной иконы сюда попала? Ведь избу-то сожгли, всё там сгорело. А может, и впрямь Бог-то есть, и Богородица есть, и Никола Угодник, и святые апостолы?» Но их она нигде не видела, Богородицу только, её наполненные слезами очи, прекрасные такие, скорбные – сердце обмирало, когда она глядела на Фросю.

Плечо ныло, покрылось коркой запёкшийся крови, но не сочилось, было сухим. «Это хорошо! – сказала себе Фрося. – Наверное, не помру...»

Она старалась не тревожить рану. Оторвала зубами лоскут от нижней рубахи. Скинув фуфайку, перепеленала плечо. Благо, правая рука была целой. И легла передохнуть.

Овраг глубокий, узкий, в могучем осеннем бурьяне и чёртовой траве. Из чёрной стены вывалился корень дуба. Свернулась она калачиком, спряталась под этим корнем, в травяной холодной чаще – не разглядеть её сверху, если немцы ещё здесь.

Деревню пожгли, а молодых девчонок собрали, загнали в деревянные вагоны и повезли в Германию. И её, Фросю, тоже. Пятнадцать лет ей было. Всё хорошее у Фроси забрали, оставили только стёганую фуфайку да старый шерстяной платок.

Ещё днём, как заталкивали их в вагон, заприметила Фрося возле отхожего места щель в полу. Ночью прокралась туда, отодрала доски и на коротком переезде, когда поезд замедлил ход, вылезла, в лес побежала. За нею ещё двое девчат увязались. Их застрелили, а Фросю только ранили, успела она скатиться в овраг. Немцы обстреляли его и вернулись к поезду: он недовольно кричал, надо было ехать дальше. Боялись партизан.

Долго лежала в овраге. Хотелось пить. Сосала сырые от инея стебли. Губы и язык стали горькими. Горечь вызывала голод. В кармане фуфайки оставался хлеб – она помнила. Поела и оставила на потом: кто знает, сколько ей ещё до людей добираться? Хорошо бы к партизанам...

Очи Богородицы погасли, и теперь небо было пустым, без живой души, и могло обрушиться любой бедою...

\* \* \*

Вернулась Фрося домой поздно, но фонари ещё не горели. Устало поднялась к себе на этаж, сгорбившись под тяжёлым мешком с бутылками. Подняла коврик у двери, где обычно прятала ключ. Ключа не было. «Эй, ты где? Ау!» – искала Фрося. И тут обнаружила, что квартира её опечатана. На белой бумажке стоит печать, и дверь открыть никак невозможно, ещё и ключ пропал. «Что ж это такое? – удивилась Фрося. – Не бывало ещё такого...»

Она постояла в раздумье у двери, прислонив мешок к стене, заглянула в глазок, хотя знала, что ничего не увидит, бессмысленно подёрнула ручку двери и печально

спустилась вниз, в пустой двор, волоча мешок. Нигде никого, и спросить-то не у кого: как же ей теперь быть? Ладно, пусть мешок с палкой пока в палисаднике постоят-полюбятся, кому они ночью нужны?

Обошла дом, держась за шершавую, тёплую ещё от дневного солнца стену, нашла свой балкон и стала выглядывать петушка. На балконе было тихо. Фрося набрала мелких камешков и кинула. Они гулко отскочили от шифера, которым был обшит балкон. Один попал Фросе в голову, но не больно. Петушок молчал.

Испуганно оглядываясь на балкон, она побрела назад. Споткнулась о камень, который давно рос во дворе, упала. По ноге с колена побежала горячая струйка. Фрося подумала: «Кровь!» – и тут же забыла. Пока ходила туда-сюда, зажгли фонари, и в глубине двора, под вязом, разглядела она грудку каких-то узлов. Когда шла с мешком, тоже видела, но не обратила внимания, думала: «Мусор, наверно, выбросили!» А тут пригляделась. Мелькнула вроде знакомая тряпка. Подошла ближе – мать честная! Да это ж её платок в клетку, она им по праздникам стол накрывала, вместо скатерти. Платок был увязан в горбатый узел и лежал на железной койке. Здесь же свёрнутая в рулон Фросина постель, коробки из-под сигарет – чужие – с посудой. Посуда, однако, её, Фросина: вон, зелёная ручка кастрюли торчит, чайник, закопчённый, с прилипшим тараканом, белое ведро с пшеном для петушка. «Чё же это? – совсем растерялась Фрося. – Как же я теперь? И петушок куда-то подевался...»

Она притулилась на койке, и горько заплакала. А тут ещё фонари – погорели, погорели да погасли: мол, хорошенького понемножку! Упала такая чёрная ночь, как перед концом света, и жизнь показалась вновь бессмысленной, чужой, а её собственная отлетела куда-то, и Фрося затосковала по ней, задохнулась, стала бить себя в грудь, полную душной ваты, хватать воздух пересохшим ртом.

В чьей-то квартире завывала собака – утробно, жутко. И долго ещё отзывалось эхо, докатываясь до самых гор. Фрося кое-как откашлялась, боязливо забрала с земли ноги, поджала их, как маленькая птичка. На железной сетке неудобно было сидеть, и Фрося подсунула под бок матрац. Коробка с посудой упала, загремела, и это немного успокоило Фросю: посуда всё же своя, родная, голос подаёт. И тут вышла луна, и увидела Фрося в ветвях вяза сияние – петушок сидит, голову под крыло спрятал. Почувствовал её взгляд, проснулся, стал огненной головкой вертеть: туда-сюда, туда-сюда, бусинки глаз добротой светятся, любопытством. Ну, слава Богу! Жив петушок, а значит, и Фросина жизнь не кончилась. Ничего, вот денег она скопит, возьмёт петушка, и поедут они в деревню, в Родники... Ничего, что деревни теперь нет, вымерла вся, ничего... Напьются родниковой, сладкой воды, землянку выкопают, картошку посадят. Как-нибудь проживут. А то – а то и под вязом неплохо...

## СОЛОВУШКА

Соловушка – конопатый, как сосновая кора, суетливый мужик – ехал в общем вагоне от таёжной станции Талица в Москву.

Маленький, вёрткий, он умудрился штопором ввинтиться в орущую толпу, атакующую вагон, пробился к верхней полке и теперь блаженствовал на своей, поvidaвшей жизнь, телогрейке, подложив под голову новый хороший мешок,



накануне пошитый женой Степанидой. Беличью шапку он не снимал. Парился в ней, утопая по самые глаза в голубовато-жёлтом меху. Шапка была не ношенная, бережёная много лет для особого случая. И теперь Соловушка важничал – не чета голытьбе внизу, которая теснилась на полках, в проходах вагона на тюках и деревянных чемоданах, наверно, ещё времён Гражданской войны, в прокуренном тамбуре с выбитым окном, заставленным фанерой. Фанера дребезжала всю дорогу, как расстроенная балалайка.

У Соловушки был железный Рубль, выданный Степанидой, и он время от времени ощупывал его в потайном кармане штанов, при этом подозрительно косился на голытьбу: не видит ли кто?

Соловушка никогда не держал в руках денег, не понимал их, потому что жидкую его зарплату получала сама Степанида, тем более что она была кассиром в конторе их совхоза, который дышал на ладан, но пока не развалился. Рубль, спрятанный в штанах, радовал Соловушку. Он и себя чувствовал твёрдым, солидным, как этот Рубль. Крупным человеком!

В Москве у Соловушки жила сестра Гутя. Августа Маркеловна. Она работала администратором в окраинной гостинице и считалась в селе Талица большой начальницей. Дома не бывала с юности, с тех пор, как сбежала от разгульных родителей. Писем тоже не писала. Но сосед Соловушки, Юшков, ездил осенью в Москву и видел её там. Он подробно растолковал Соловушке, как попасть к Августе Маркеловне с вокзала. Умолчал, правда, что она вытолкала Юшкова в шею: «Много вас тут, таких земляков! Нету местов! Читать умеешь-нет, тундра?» Земляк читать умел, но всё ж думал...

Ночевал он в парке, возле зябкого пруда, наполняясь священным трепетом перед начальницей. К утру Юшков уже вовсю гордился, что начальница не откуда-нибудь, а из их таёжной Талицы.

Вот Степанида и решила: пора Соловушке ехать к сестре, пользоваться родственностью. Она дала ему железный Рубль – бумажные-то деньги потеряет, а в железном Рубле есть вес, легче его чувствовать, наказав на этот Рубль ехать с вокзала в гостиницу к сестре. По её расчётам, ещё должно остаться много сдачи. Соловушка добродушно спросил:

– Назад привезти остаток-то?

Но Степанида расщедрилась:

– Ладно уж, погуляй на их! Всё ж Москва...

Соловушка про себя смекнул, что с вокзала до гостиницы он и пёхом допрёт, а гулять будет на весь Рубль. Это особенно грело его теперь, и он всё чаще ощупывал в потайном кармане большой Рубль. И ещё Степанида сшила мешок:

– Пусть сестра твоя подарков нам пришлёт. Ей это ничё, богато, поди, живёт в начальницах-то, да и в гости не ездит. Вот пусть за всё и даст подарков! – наказала она тихому от предстоящих перемен в жизни Соловушке. – Пусть уж не обижат нас. Так и скажи Гуте... – дрогнул её голос.

Решила, что и на обратную дорогу сестра денег даст: не жить же Соловушке в гостях до смерти:

– Ничё, проводит!

На прощанье завернула Степанида мужу в бумажку кусок хлеба, большую картофелину, дала крепкую луковицу, а в спичечный коробок насыпала соли. Всё. Посидели возле печки. Неловко ткнулись друг в друга, с тем и расстались.

Едет Соловушка, боясь покинуть взятую с боем полку. Внизу много желающих.

Несколько раз в день грохочет по вагонному проходу проволочная тележка из ресторана. Буфетчица еду развозит и громко кричит:

– Пепси-кола! Кому пепси-кола!

Соловушка слышал про эту пепси-колу от соседа Юшкова, ездившего в Москву. Пробовать сосед не пробовал, но видел там ларьки, где торговали этим самым заморским питьём.

«Эх, хоть бы разок хлебнуть! – мечтал Соловушка. – У Гути, поди, есть!» Он плотнее натянул шапку на уши, чтоб не слышать призывов буфетчицы. Соловушка почти всё время спал. Он любил спать. Он вообще по натуре был человеком ленивым и без характера. Так все считали. Но Степанида, хоть и замахивалась на него кочергой, однако на людях выгораживала:

– Ой, чья бы корова мычала, а твоя бы молчала! – укорачивала она соседку Маньку, жену Юшкова. – Да у меня мужик не чета твоёму блохолову! Он умный. Видала, какой у него лоб? Вождь, а не мужик!

У Соловушки, в самом деле, большую часть маленького мышиноного личика занимал неожиданно высокий лоб. Теперь за этим лбом сквозь липкий сон пробивались самодовольные мысли: «А чё? Может, я вовсе в Москве останусь, как Гутька. Чё в Талице-то хорошего? Сплошна тайга...» И совсем расхрабрившись, говорил низкому вагонному потолку: «Другу жену себе найду, тоже начальницу! А Стешке дам отлуп!»

\* \* \*

Только на вторые сутки стало в вагоне просторнее. Народ постепенно выгружался на таёжных станциях, громко сморкаясь на сверкающий снег. В отворённые двери тамбура неторопливо входил свежий морозный воздух, хвойный дух близкого бора, дымок затопленных бань – они чернели возле стеклянных речек.

Соловушка тоскливо глядел в окошко, свесившись с полки. Ему хотелось уже домой, в свой выпачканный навозом двор, в баню, завалившуюся боком в овраг. Эх, с веничком бы да на полук!

Железный Рубль больно врезался рифлёным ребром ему в живот, и Соловушка откинулся на телогрейку, уставясь в надоевший серый потолок, изученный уже до мельчайших царапин. Ведь царапал же кто-то от нечего делать: «Кузя дурак!» И что за Кузя? Соловушка и сам бы что-нибудь написал, оставил о себе память, да нечем. Написал бы: «Жизнь фигня!» Или нет: «Всё фигня!»

\* \* \*

Вскоре за окном картина изменилась. Пошли степи, засыпанные редким снегом до самого горизонта. Сквозь это рядно просвечивали жёлтые, обглоданные ветром стебли, колючие кустарники, комья смёрзшегося песка. Жильё попадалось редко. Сиротливые глиняные хибарки с плоскими крышами, ничем не огороженные, одинокие, будто брошенные давно. Но дымок над кровлями говорил, что это жильё всё же обитаемо, хотя ни одной живой души вокруг не было.

«Как живут-то?» – недоумевал Соловушка, и ему становилось жутко, будто попал он на Луну. Через полчаса, иногда через час после промелькнувшего жилья встречались овцы, похожие на ползающих по столу осенних мух. «И чё

едят-то?» – опять недоумевал Соловушка. Всадник в громоздком тулупе и лисьей шапке с тремя ушами помахал поезду короткой плёткой, а Соловушка погрозил ему кулаком. Мужик вызывал у него не меньшее удивление, чем жильё и овцы: «Чё за люди-то?»

На маленькой станции с тарабарским названием Курпе вошёл громкоголосый старик в такой же шапке, как всадник в степи. Он сразу же стал весело лопотать на своём тарабарском языке. Возле окна было место. Старик втиснулся, довольно отдуваясь: «Ауйе, жаксы!» И неожиданно подмигнул Соловушке, будто они в давнем сговоре по какому-то очень хитрому и выгодному делу. «Чё это я? – удивился Соловушка. – Заигрываю чёрт знает с кем? Он, поди, китаец... ишь, косоглазый...» – и лихорадочно ощупал свой Рубль. Степанида наказывала ни с кем в дороге не связываться и вообще держаться тише воды, ниже травы: «Целее будешь!»

Старик между тем по-хозяйски располагался. Снял лисью шапку с тремя ушами. «Всё у них тут тарабарское!» – презрительно подумал Соловушка, поглаживая на запершей голове настоящую вещь, из хорошей зимней белки, стреляной в глаз. От отца осталась. Сам-то Соловушка никакого ремесла не знал и к зверю касательства не имел, хоть и вырос в тайге.

Из-под снятой стариком шапки вырвалось целое облако пряных, степных запахов, незнакомых таёжному человеку Соловушке. Соловушка насторожился, как зверь.

Старик вытер блестящую лысину большим красным платком, вынул из шапки и напялил на голову круглую бархатную шапчонку и снова довольно выдохнул: – Ауйе, жаксы!

Так же неторопливо вынул из кармана стёганных штанов бисерный кисет, распустил его, залез пальцами и вытащил щепоть табака. Заложил в ноздри, зажмурился и вдруг так оглушительно чихнул, что в тайнике Соловушки перевернулся Рубль.

«Во, даёт! – подумал Соловушка и на всякий случай отодвинулся к стенке. – Дикарь!»

Он слышал внизу смех людей и весёлый говор старика. Началось шумное знакомство: кого как зовут, кто куда и откуда едет. Выяснилось, что у старика имя Ахмет, а отец у него был Аблай, потому стал он Ахмет Аблаев. У них так заведено. «Надо же, и по-русски фурычит, как правдишный!» – подумал Соловушка, а старик между тем сказал, что едет он теперь из аула Курпе с поминок. Умер троюродный дядя двоюродного брата отца, а кем тот дядя приходится Ахмету, Соловушка так и не понял. У него не было родни, кроме Гути, да ещё Степанида с детьми, а так-то совсем один. Родители давно померли.

Сам Ахмет живёт в ауле Аккеспе – Белая Лапша, если сказать по-русски. «Чёрти что! – усмехнулся Соловушка. – Придумают же!»

Соловушка решил, наконец, спуститься с нагретой полки, прихватив мешок. Он был пустым. Картошку и хлеб с луком Соловушка съел ещё в первый день, потом сосал одну соль.

Ахмет увидел Соловушку и, как давече, хитро подмигнул ему: – Мя! – протянул круглый пончик. – Баурсак! Бери, бери! Зачем одну соль сосаешь, как берблюд? Бери!

Соловушка взял, как бы нехотя, лениво, и горделиво поглядывая на старика, пошёл в конец вагона, к отхожему месту. Баурсак немедленно съел – жадно, почти

не жуя, как волк, но есть всё равно хотелось. Долго возился у двери уборной. Кое-как, выламывая ручку, отпер – и замер на пороге: пол был залит водой. Жалко пимы мочить. Но делать нечего. Соловушка, сокрушённо вздыхая, на цыпочках, аккуратно вошёл в воду, слегка притворив дверь: как бы не захлопнулась, зараза! Фиг потом выйдешь отсюда. Будешь на очке сидеть до самой Москвы. Справив нужду, Соловушка осмотрел себя в заляпанном зеркале, показав ему жёлтые зубы, слишком крупные для маленького лица. Видно, для равновесия с большим лбом. Пощупал в зеркальном стекле отражение своей новой беличьей шапки и остался доволен собой. Потом нажал со всей силы на кран. Вода полилась через край раковины, добавляя мокреди под ногами.

«Ага! Вон она откуда!» – осенило Соловушку. Он убавил струю. Вывернул неловко голову, стал сосать из железной титки воду, тепловатую, с привкусом ржавчины. Голодное нытьё в животе улеглось. И теперь, полностью довольный собой, Соловушка пошёл к своей полке, оставляя на полу тупоносые, мокрые следы. Он не стал слушать брехню Ахмета из Белой Лапши, а завалился спать.

\* \* \*

...И приснилась ему Настенька – девочка из детства, из таёжной деревеньки Зимородье. Увидел он её десятилетней. Голенастая, белобрысая. Идут они лесом, березняком. Настенька прыгает и хлопает в ладошки, а он, Соловушка, на ивовой дудке играет, пиликает, подражая синице. Настенька подсвистывает, сложив трубочкой губы. Губы устают свистеть, и она закрывает ладошкой дудку:

– Хватит! Хватит!

Соловушка перестаёт играть, вытряхивает из дудки набившуюся туда слюну, а Настенька серьёзно так, внимательно глядит на него:

– Слышь, а ты можешь сам стать синицей? Ну, штоб летать?

– Чё я, дурак? На што мне это?

– Ты не понял, – морщится Настенька. – Ну, вот если с высокого холма не побежать, а полететь. Вот так! – она раскинула худые длинные руки.

Соловушка снисходительно улыбнулся: глупая ещё! Он был старше её на два года.

– Ну ты попробуй! Попробуй! – не отставала Настенька. Она почти бежала за ним, не попевая. Он шёл крупными шагами, как настоящий мужик. – Слышь, Соловушка! – задыхалась Настенька. – Ну, што тебе стоит, а? Мой папка говорит, што мы сначала от рыб произошли, потом превратились в зверей, а потом были птицами – он в книге читал...

– Брехня! – пресёк Соловушка Настеньку. – Где ты видела, штоб от рыб рожались звери, а из птиц получались люди? Из птиц и будут птицы, а мы – друг от дружки. Папка с мамкой ночью попрыгают – и готов младенчик.

– Дурак! – толкнула его Настенька и покраснела так, что брови её стали ослепительно-белыми. Она больше не разговаривала с ним. Шла сама по себе, а он – сам по себе...

Просыпался Соловушка от громкого хохота внизу, где Ахмет развлекал дорожную публику, и снова засыпал. И снова видел Настеньку.

Вот стоит она, задрав голову, под высоченным кедром, а он, Соловушка, карабкается за шишками. Наберёт полную запазуху, уместится на крепкой ветке и

давай в Настеньку пулять шишками. Она уворачивается, сердится, а он хохочет да знай целится ей прямо в лоб, прикрытый лёгкой чёлкой. Ему нравилось мучить Настеньку. Драть за косы, выворачивать больно руки, оставляя синяки на нежных запястьях, ставить щелчки или вот так обстреливать спелыми шишками, залитыми тяжёлой смолой.

Хохотал, хохотал Соловушка да и сорвался вниз. Впервые почувствовал, какая твёрдая, гулкая земля, будто чугунная. Когда открыл глаза, Настенька стояла над ним – невероятно высокая, с сияющими синими глазами во всё лицо:

– Ну, как? Как летать, а?

– Дура... Убился я, не видишь? Помру теперь...

Он не помер, но долго отлёживался дома, куда его притащила Настенька. Сильно кружилась голова, и тошнило. Никто его не лечил. Гутя к тому времени уже сбежала в Москву. Отец с матерью пропали. Они обычно шлялись по гулянкам. Домой заявлялись под утро. Приходил бригадир, звал их на сенокос, на уборку картошки или на сбор шишки, смотря по сезону, но толку не добивался. Приходил снова, стыдил, грозил прогнать из Зимородья за тунеядство – и прогнал потом, почему и оказался Соловушка в Талице. Но им хоть кол на голове теши – опять за своё: на новую гулянку налаживаются.

Маркел и Анисья Брехуновы отменно плясали. Дробь их каблуков доходила до преисподней. Какое застолье без пляски? Люди пашут, а они знай пляшут. Сыта ль, не сыта – всегда весела. Пьяна ль, не пьяна – всегда плясея!

С фасонной выступкой идёт Анисья, а Маркел вьётся вокруг неё голубем, выгнув грудь. И пойдут, и пойдут! Упляшутся до поту, словно сделают работу. Всюду их зовут: и в Зимородье, и в окрестные деревни – на свадьбы, на родины, на праздники, а то и просто для компании. Так, раз за разом, пристрастились они к гулянкам. А где гулянка – там выпивка.

Старшая сестра Соловушки, Гутя, хоть и не плясала, зато уж с голосом была. Хорошо пела, как Мордасова. Соловушка сразу догадался, как она пропала, что в артистки подалась, но вышло ещё лучше – стала начальницей.

Его же бог обделил талантами. Пойдёт плясать – колени вихляются, как у паралитика. Хохоchet народ. А петь и вовсе не умел. Так, одно беспокойство воздуха. Слышать слышал, а песню вёл вкривь и вкось. Брехуновы презирали его за бесталанность и в насмешку прозвали «Соловушкай». Так и приклеилось.

Бывали у Маркела с Анисьей и трезвые дни, когда Маркел ходил в тайгу, на охоту. Потом из добытого зверя шил шапки, а мать Соловушки продавала их на станции. Но теперь они гуляли. Убившийся Соловушка лежал один и видел в низком окошке Настеньку. Она сидела на перевёрнутых санях и «разговаривала» с Соловушкай глазами и пальцами. Соловушка ничего не понимал. В дом Настенька идти не хотела, хоть и зябла на дворе: лужи уже подёрнулись ледяной паутиной. А вот на сани приходила каждый день и начинала «говорить», как глухонемая.

«Чё это она?» – удивлялся Соловушка и показывал ей язык. Настенька тоже показывала ему язык и убегала. Соловушка скучал один, ждал её. В школу он не ходил – всё болел, хандрил и совсем ослаб. Когда Настенька, успокоившись, появлялась опять, старательно глядел на её немые губы, на её руки, что-то чертившие в воздухе, но – хоть убей! – не мог понять.

Потом окна затянуло морозом, и Настенька пропала. По краям суконного одеяла, которым укрывался Соловушка, к утру нарастал куржак.

Он лежал в пустом, выстуженном доме, вышелушивал из кедровых шишек орешки, грыз их и скучно думал: «Холодно... Тараканы и те помёрзли. Не видать их што-то... Дом трещит, в землю проваливается... Северяк задул. Вон, как в трубе воеет. Теперь надолго... Голова болит... Наверно, от неё дураком стану...»

Ещё когда Соловушка брал шишку с Настей, он заметил новые беличьи гнёзда. Низко от земли селятся – к морозной зиме.

Мать с отцом как загуляли с Юровой, так он их и не видал. Где запропали? Может, в тайге замёрзли. Может, в кутузку их посадили. Может, прогнали куда – бригадир-то грозился... А его бросили. Соловушка стал плакать, как маленький. И плакал долго, пока не устал и не заснул.

Он бы вконец замёрз, да пришла, наконец, Настенька. Она, оказывается, простыла, лежала с ангиной. Теперь вот встала и сразу к нему. Настенька печально оглядела Соловушкино жильё, зацветшее по углам инеем. Притащила со двора дров и растопила печь.

Они пили горячий чай с пирогами, что принесла Настенька. Сидели возле огня, согреваясь, млея. Чугунная дверца была откинута и хорошо видна игра пламени. Смола на поленьях шипела, горьковато чадила. Сосновая кора закручивалась красными кольцами. В глубине печи, в голубовато-розовом пепле вспыхивали невиданные цветы, качались на зыбких волнах зноя и увядали, чернели, рассыпались пылью. Настенька странно посмотрела на Соловушку:

– Слышь, Соловушка, достань оттуда цветок!

Соловушка болезненно поморщился:

– Чё я, дурак, чё ли? Это ж огонь!

– Там цветы, видишь?

– Не вижу! – крикнул Соловушка, досадуя, что Настенька снова взялась за свои выдумки. Так хорошо сидели, согрелись, голова перестала болеть и кружиться.

Но Настенька глядела по-прежнему странно и подталкивала его к печи:

– Глянь, глянь, вон же! Цветок!

– Огонь это и больше ничё! – устало буркнул Соловушка. – Ты от ангины своей, видать, совсем сдурела...

Настенька замолчала. Выплеснула чай в раскалённую печь и убежала.

– Психованная! – фыркнул ей вслед Соловушка.

Он было опять затосковал в одиночестве, но тут объявились Маркел с Анисьей, которые в самом деле «парились» в кутузке. Украли волчью доху во дворе одного мужика. Жена мужика вывесила её проветрить после летнего нафталина. Проветрила! Изрядно выпившие Брехуновы пытались продать доху её же хозяину, который гулял вместе с ними. Он совсем уже было купил собственное добро, но тут прибежала его жена и быстро разобралась с ними. Брехуновых сдала в милицию, а еле тёплого мужа и волчью доху потащила домой. Идти было скользко. Она роняла то мужа, то доху и громко бранилась:

– Алкашня проклятая! – при этом так свирепо встряхивала волчью доху, будто та тоже всю жизнь пьянствовала.

Выпущенные на волю Брехуновы присмирели и до лета шили шапки. А летом их выгнали из Зимородья, и они очутились в Талице, вместе с Соловушкой, который остался на второй год. И никогда, никогда уже больше Соловушка не видел своей Настеньки...



Целая жизнь прошла с тех пор, но Соловушка нет-нет, да и вспомнит: «Эх, была у меня Настенька!» Когда родилась у них со Степанидой первая дочь, хотел он её Настенькой назвать, да жена воспротивилась – Стешей записала, в свою честь. Потом ещё три девочки получились, и всех Степанида по-своему назвала.

– Эх, была у меня Настенька! – вздохнёт, бывало, Соловушка, а девчонки тут как тут:

– Расскажи, расскажи про Настеньку!

Он только рукой махнёт:

– Кыш, мокрохвостки!

А сам в тайгу пойдёт, в березняк. Полосы летнего солнца падают сквозь древесные кроны, и Соловушка покажется себе невесомым, поднимающимся по этим полосам в небо – никто его не достанет!

– Язви ты в душу, хорошо-то как!

Тут почудится ему смех Настеньки, её лёгкое дыхание. Эх!

\* \* \*

Соловушка проснулся, вытер рукавом потёртой телогрейки слёзы, набежавшие во сне.

В проходе вагона задребезжала проволочная тележка и заорала простуженным голосом буфетчица:

– Пепси-кола! Берите пепси-колу! Последние бутылки!

Зазвенели деньги. Народ, тоже задремавший, теперь оживился. Соловушка заёрзал на своей полке. Искушение было сильным. «А-а-а! Была не была! Куплю! Пешком дойду к Гуте, на што мне Рубль?» И, подхватив мешок, сполз с полки, побежал в тамбур, стал шарить в потайном кармане – Рубля не было, пропал. Соловушка не поверил: может, в пимы провалился? Снял один пим, другой, потряс – нет Рубля! Кинулся в сортир – там обронил, точно, там! Пол в сортире уже подтёрли, сухой. Обшарил всё – нету... Видать, кто подтирал, тот и нашёл его Рубль. Горе Соловушки было так велико, что он без сил опустился на стульчак, прямо в штанах, и так сидел, пока не стали его выгонять жаждущие облегчения пассажиры. Поплёлся назад, всё время глядя под ноги: может, найдётся Рубль? Он чувствовал себя вмиг осиротевшим, беззащитным, маленьким.

Тихо влез на свою полку, свернулся калачиком, как брошенный щенок. Ему теперь было всё равно, куда ехать: в Москву, в Белую Лапшу к старику Ахмету, который звал в гости весь вагон, или на саму Луну. Не вспоминал он больше и Настеньку. Да и что его ждёт завтра, тоже не думал. Так и заснул.

...Во сне пришёл к нему Рубль. В такой же беличьей шапке, как у самого Соловушки. Важный, лобастый – не подступишься.

– Ну! – сказал Рубль. – Зачем ты потерял меня, говори?

Соловушка хотел сказать, но голоса не было. Он униженно кланялся Рублю, пытался заглянуть ему в единственный, серебряный глаз. Рубль больно ткнул Соловушку твёрдым пальцем:

– Не меня ты потерял, а себя!

И стал раздуваться, вытесняя Соловушку куда-то. Раздувался, раздувался. Засучил Соловушка во сне ногами – убегал, а всё с места не двигался. Ужас его охватил: вот-вот раздавит его чудовище! И тут – проснулся.

Поезд сильно дёргался, сбавляя скорость. Неловко выворачивая руки, Соловушка слез с полки. Пассажиры спали сидя, всхрапывая и валясь на соседей. Ахмет положил голову на стол, на свою трехую шапку, и тихо посапывал, как ребёнок.

Соловушка стащил с полки пустой мешок, свернул его покрепче и засунул за пазуху. Покачиваясь от неровного хода поезда, пошёл в тамбур. Поезд дёрнулся последний раз и встал. Проводница отворила дверь, сбросила подножку и легко спрыгнула на чистый снег:

– Красотища, а? – обратила она к Соловушке широкое деревенское лицо.

Он цвиркнул слюной и потрусил по скрипучему снегу. Надо развеять дурацкий сон! Из вагонов выходили редкие пассажиры, чтобы покурить. Зябко ёжась, быстро выкуривали папироску и снова ныряли в тёплый вагон. Их поезд стоял на втором пути, а на первом – товарняк с цементом, в хвосте его виднелись платформы с каким-то горбатым грузом, накрытым брезентом. Оттуда слышались голоса – мужской и женский.

Мужик настойчиво бубнил одно и то же, а баба смеялась:

– Ой, да знаем мы эти разговоры! Нас за руб двадцать не купишь.

Мужик стал сердиться, а баба запела:

– Чок, чок, перечок,  
На печи сидит сверчок.  
Пусть изба перевернётся,  
Был бы цел приступочок!

«Ишь, чокает! – умилился Соловушка. – Наши, видать...» Прогуливаясь, Соловушка увидел их: путевые обходчики, молоточками обстукивают колёса вагонов, баба иногда отвлекается от работы и выступает перед мужиком: видать, хороводится с ним, и так занята своим хороводом, что на Соловушку даже не посмотрела. «Ишь, выёживается! – обиделся Соловушка. – Я бы с ей тоже мог, бабёнка ничё, справна, с сальцем...» Подумал так и повернул назад, а самому интересно: что на платформах-то, под брезентом? И решил – наверно, танки. Он видел, как мимо их станции в Талице вот так же платформы шли – с танками, из-под брезента было видать. Идти в душный вагон не хотелось, и он стал читать надписи: «Не отцеплять!», «Не кантовать!», «Зимородье». Батюшки, Зимородье! Сердце Соловушки радостно трепыхнулось. И год написан: «1989» – «Свежий вагон-то, нынешним годом помечен...» Вагон был открыт. Воровато озираясь, Соловушка вскарабкался туда. Пусто. Пахнет хлебом. На полу валяются клочки сена и коровьи лепёшки. «Видать, скот перевозили...» Соловушка забился в угол, затаился, а сам думал: «Чё это я? Зачем? Ведь так и на свой поезд опоздаю, он, поди, мало стоит, не спросил у проводницы, скоко...» Было холодно, из двери дуло. Соловушка прокрался к двери, кое-как её задвинул. Ну, слава Богу... Вроде не видел никто... И мужик с бабой ушли...

На станции объявили об отправлении грузового состава с первого пути. Соловушка кинулся к двери, стал дёргать, но дверь заклинило. Тут состав дёрнулся, дал задний ход, потом передний. Соловушка отлетел в угол. И вот рванул поезд вперёд, покатил в Сибирь!

«Чё это я? Никак еду!» Ему было жутко и радостно, что ничего изменить уже нельзя. «А как же Гутя, Москва, подарки? Ох, убьёт меня Степанида! И Рубль жалко... Да только как я теперь до Степаниды-то доберусь? Не доберусь, и значит, не станет она меня бить...»

Он слышал, как вдалеке сипло кричал скорый поезд, готовясь мчаться в Москву. Тоскливо сжалось сердце Соловушки. Как воробей, забился он снова в угол, натянул шапку на самые глаза, а руки спрятал в рукава телогрейки: «Эдак до Зимородья-то окочурюсь... Чё это я сотворил? И пепси-колу теперь никогда не попробую...»

Он не знал, чем утешить себя. Его всё сильнее била дрожь. Из щелей дуло. Ветер выл. В мокрых пимах коченели ноги.

– Эх, была у меня Настенька! – выдохнул он и заплакал. И пополз, пополз на четвереньках, и собрал всё сено с пола, и зарылся в него, угнезвился, стал согреваться, уплывать. И привиделось ему: похудевшая, с огромными печальными глазами, стоит Настенька на высоком обрыве и смотрит в речку. Там закручиваются тёмные воронки. Сорок дней назад в такой вот воронке утонул её отец. Настенька каждый день ходит на обрыв, смотрит в реку.

– Не стой тут, не надо! – дёргает её за рукав Соловушка, а Настенька не слушает, смотрит.

– Лучше бы ты утонул, – сказала.

Соловушка опешил:

– Ты чё это, совсем, чё ли?

Настенька повернула к нему взрослое лицо и внимательно так поглядела:

– А зачем тебе жить? Ты ведь несчастный...

– Вот ещё! – плюнул в реку Соловушка.

Воронка мигом проглотила его плевки и выкатила блестящий чёрный зрачок, обведённый зелёной радугой.

«Почему несчастный?» – думал Соловушка, просыпаясь, и не мог понять, и снова погружался в блаженное забытьё, и не помнил, где он и зачем. И казалось ему, что едет он к началу своей жизни, в Зимородье, где, может быть, всё ещё живёт странная девочка Настенька. И замерзали на щеках его белые слёзы...



В ноябре 2017 года отмечают:

*80-летие*

*Анес Сарай, прозаик*

*60-летие*

*Серикжан Кажы, поэт*

*50-летие*

*Мира Шуйиншалиева, поэт*

*Редакция журнала «Простор» сердечно поздравляет юбиляров!*

